

A photograph of three men in dark trench coats standing in a London street. The man on the left is balding with a serious expression. The man in the center is older, balding, and looking down. The man on the right is younger with dark hair, looking forward. In the background, the Big Ben clock tower and the Houses of Parliament are visible under a cloudy sky.

Петр Сойфер

Седьмая функция совести

Петр Сойфер

Седьмая функция совести

«Автор»

2026

Сойфер П.

Седьмая функция совести / П. Сойфер — «Автор», 2026

Лондон, наши дни. Три успешных, безупречно здоровых человека умирают один за другим без единой медицинской причины. Судебно-медицинский эксперт Томас Эдриан находит в их сердцах абсолютно идентичную, необъяснимую картину — и начинает подозревать, что причина смерти не в теле, а в поступках, за которые никто из них не понёс ответственности перед законом. Чем глубже заходит расследование, тем яснее вырисовывается пугающая гипотеза: совесть — не метафора, а биологический механизм, способный вынести телу смертный приговор за предательство, которое разум давно научился прощать себе. Чтобы доказать это, Эдриану придётся пойти на сделку, зеркально повторяющую грех тех, кого он изучает, — и вскоре обнаружить тот же смертельный маркер в собственной крови. «Седьмая функция совести» — медицинский триллер на грани философского романа: о цене успеха, об институтах, умеющих прощать себя быстрее, чем прощают других, и о человеке, вынужденном искать спасение не в науке, а в раскаянии.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Седьмая функция совести

Доктор Пётр Сойфер
СЕДЬМАЯ ФУНКЦИЯ СОВЕСТИ
роман

Пролог

Гайд-парк просыпался медленно, слой за слоем: сначала птицы, потом велосипедисты, потом бегуны в дорожных кроссовках, поглядывающие на часы после каждого круга. Над Серпентайном ещё держался лёгкий утренний туман, и весь парк выглядел так, будто его только что вымыли — трава блестела от росы, а воздух пах мокрой землёй и свежестью, обычной для лондонского июньского утра. Где-то за деревьями лаяла собака, кто-то из ранних посетителей уже разворачивал складной шезлонг у воды, хотя солнце едва поднялось над крышами Найтсбриджа, — обычное, ничем не примечательное утро, каких в этом парке случались тысячи до этого и должны были случиться ещё тысячи после.

Сэр Артур Пендлтон бежал так, как делал всё в жизни, — безупречно. Ровный пульс, ровное дыхание, ровный шаг по мокрой дорожке вдоль воды. Ему было сорок восемь, но выглядел он на десять лет моложе: подтянутый, загорелый даже в июне, с той лёгкой, чуть насмешливой уверенностью в движениях, какая появляется у человека, привыкшего, что тело никогда его не подводит. Этот маршрут он пробегал каждое утро уже пятнадцать лет, в одно и то же время, с одной и той же скоростью, будто вписывал день в расписание ещё до того, как этот день начинался. Знакомые бегуны, встречавшиеся ему на этом же круге изо дня в день, давно перестали с ним здороваться — не из невежливости, а потому что между ними установилось нечто более уместное для раннего утра, чем разговор: молчаливое взаимное узнавание людей, поддерживающих одну и ту же дисциплину в одно и то же время, каждый в своём собственном одиночестве.

Вчера вечером он ужинал один — жена уехала на несколько дней к сестре в Бат, — и, ложась спать, ещё успел подумать о встрече, назначенной на десять утра: слияние двух инвестиционных фондов, сделка, над которой он работал последние полгода и которая должна была принести компании один из крупнейших контрактов за десятилетие. Он заснул с той спокойной удовлетворённостью человека, для которого жизнь наконец сложилась именно так, как он планировал её сложить много лет назад, ещё студентом, вчерашним провинциальным юношей, поклявшимся себе, что однажды его имя будет значить что-то в Сити.

На пятом километре, там, где дорожка чуть заворачивает к мосту, он замедлил шаг — так замедляют его сотни бегунов каждое утро, чтобы отдышаться или посмотреть на воду. Потом остановился. Постоял немного, приложив ладонь к груди, — обычный жест, каким люди на пробежке иногда останавливают дыхание. Затем опустился на колено, аккуратно, почти неторопливо, и лёг на бок в траву, будто решил наконец дать себе минуту покоя, которую откладывал пятнадцать лет.

Мимо пробежали ещё двое — не остановились, приняли за человека, присевшего отдохнуть. Утки на воде даже не шелохнулись. Где-то вдалеке продолжала лаять та же собака, и её хозяин, судя по звуку, безуспешно звал её обратно, — обычный, будничный шум утреннего парка, ничем не потревоженный тем, что произошло всего в паре сотен метров от него.

Сердце сэра Артура Пендлтона остановилось без единой видимой причины. Ещё месяц назад его в очередной раз обследовали кардиологи Харли-стрит и не нашли ничего, что могло бы вызвать тревогу, — по всем показателям он был здоров, как человек вдвое моложе себя. Врач, проводивший то последнее обследование, даже пошутил тогда, что с таким сердцем

Пендлтон переживёт всех своих врачей, — фразу эту сам врач, узнав об утренних новостях два дня спустя, будет вспоминать ещё долго, с тем особым, неприятным холодком, какой испытывают люди, чьи слова оказались пророческими не в ту сторону.

Оно просто остановилось. Так, словно приняло решение.

Часть 1. Регулятивная функция

«Совесть — это закон, живущий в нас самих, но превосходящий нас; она удерживает руку прежде, чем разум успеет взвесить выгоду». — Иммануил Кант

Глава 1

Будильник прозвонил в пять сорок, как звонил уже одиннадцать лет, и Томас Эдриан, не открывая глаз, потянулся к телефону и отключил его на середине первого сигнала — привычка, выработанная ещё в ординатуре, когда соседи по общежитию грозились выбросить будильник в окно, если он позволит ему звонить дважды. Он ещё какое-то время лежал неподвижно, глядя в потолок, — не потому что хотел поспать ещё, а потому что эти несколько минут перед вставанием были единственным временем суток, когда от него ничего не требовалось, ни решения, ни диагноза, ни даже мысли, доведённой до конца.

Квартира на Гилфорд-стрит встретила его тем же порядком, в каком он её оставил накануне: пустая раковина, три книги на журнальном столике, раскрытые на разных страницах, и ни одной фотографии на стенах — не потому, что ему нечего было вешать, а потому, что за годы он так и не придумал, кого именно стоило бы там разместить. Родители, оба уже на пенсии, жили в Йорке и звонили по воскресеньям; сестра, с которой он не разговаривал по-настоящему уже года три, жила в Австралии, и переписка между ними давно свелась к формальным поздравлениям на дни рождения. Он не был одинок в том смысле, в каком бывают одиноки люди, которых никто не любит, — скорее в том смысле, в каком бывают одиноки люди, слишком занятые, чтобы заметить, как редет круг тех, кто мог бы называть себя близкими.

Он сварил кофе, выпил половину стоя у окна, глядя на серую в этот час Теобальдс-роуд, и вылил остальное в раковину — привычка, называемая им самим дисциплиной, а любым психиатром, вероятно, чем-то менее лестным. За окном молочный фургон делал свой обычный утренний обход — редкость даже для этого квартала, где привыкли жить по старинке чуть больше, чем в среднем по городу, — и Томас, наблюдая за ним, поймал себя на мысли, что этот фургон он видит уже которое утро подряд, но ни разу не задумался, кто его водитель и куда именно он едет после Гилфорд-стрит.

До Форт-стрит было двадцать минут пешком, и Томас проходил их каждое утро одним и тем же маршрутом, мимо закрытой ещё пекарни, мимо газетного киоска, где хозяин уже раскладывал утренние выпуски, ни разу не подняв на Томаса взгляд, хотя видел его каждый будний день последние пять лет. Заголовки на стенде менялись день ото дня, но Томас редко их читал по-настоящему — разве что мельком, боковым зрением, — считая, что новости, действительно достойные внимания, рано или поздно доберутся до него сами, через коллег или через дела, попадающие на его стол. Лондон в это время суток принадлежал ещё немногим — уборщикам, курьерам, редким бегунам вроде того, чьё тело сейчас ждало его на столе, — и Томасу нравилась именно эта версия города: не парадная, не деловая, а какая-то предварительная, черновая, ещё не решившая, каким лицом повернуться к дню.

Прозекторская на Форт-стрит занимала цокольный и первый этажи невзрачного викторианского здания, построенного семьдесят лет назад как обычный больничный морг, а теперь обслуживавшего добрую половину необъяснённых смертей Центрального Лондона. Наверху располагались кабинеты администрации коронерской службы, внизу — собственно прозекторская: два операционных стола из нержавеющей стали, ряд холодильных камер вдоль стены, электронный микроскоп, за который Томас лично сражался с бюджетным комитетом три года

подряд, и то особое освещение, слишком яркое и слишком ровное, какое бывает только в помещениях, где не должно быть теней. На стене у входа висела памятная табличка в честь патологоанатома, работавшего здесь на протяжении сорока лет и умершего, по иронии, от той самой ишемической болезни сердца, которую диагностировал сотни раз за карьеру, — деталь, о которой Томас старался не думать слишком часто.

Она пахла холодным металлом и хлоргексидином. Томас вдыхал этот запах каждое утро уже одиннадцать лет и ни разу не пожалел о выборе профессии, хотя объяснить почему — не смог бы. Здесь тело либо говорило правду, либо молчало — третьего не было дано.

И всё же в это утро, ещё не притронувшись к скальпелю, он на секунду задержался у каталки — так, как не задерживался уже давно. Не из брезгливости и не от волнения. Просто на мгновение возникло ощущение, что тело смотрит на него в ответ, хотя веки были закрыты, а до вскрытия оставалось ещё несколько минут бумажной работы.

Он отогнал это ощущение тем же способом, каким отгонял любое чувство, не находившее подтверждения в данных, — просто не дал ему развиваться дальше первой секунды, — и открыл электронную карту дела на планшете.

Сэр Артур Пендлтон. Сорок восемь лет. Инвестиционный банкир, партнёр одной из старейших контор Сити, женат, детей нет, найден в семь двадцать утра бегуньей, вызвавшей скорую из Гайд-парка. Смерть констатирована на месте.

Дело пришло к Томасу самым обычным путём. Терапевт, у которого покойный не показывался последние два года, отказался выписывать свидетельство о смерти — он попросту не мог засвидетельствовать причину, которую ни разу не наблюдал, — и тело, как это заведено при любой необъяснённой смерти, перешло в ведение коронера. Будь у Пендлтона хоть какой-то диагноз в карте, вскрытие поручили бы дежурному патологоанатому ближайшей больницы, и через несколько дней в документах появилась бы спокойная формулировка вроде «острая сердечная недостаточность на фоне...» — и вопрос был бы исчерпан. Но случаи внешне здоровых людей без единой строчки в истории болезни коронер уже шесть лет как передавал именно Томасу — он единственный в Центральном Лондоне вёл подобную практику на постоянной основе, и его стол давно стал местом, куда стекались смерти, не желавшие объясняться сами собой. Коллеги из других округов иногда завидовали ему этой специализации — работа считалась престижной, публикации по подобным случаям хорошо ложились в резюме, — но мало кто из них представлял, каково это на самом деле: держать в руках сердце человека, который умер без единой уважительной причины, и знать, что семье придётся жить с формулировкой, объясняющей не больше, чем объясняет пожатие плечами. Ни коронер, ни тем более полиция в эти дни ещё не думали об убийстве. Речь шла лишь о том, что для такого тела нужен врач, способный увидеть больше, чем видит первый попавшийся специалист. И всё же, оформляя направление накануне вечером, дежурный клерк коронерской службы на секунду замешкался перед тем, как поставить подпись, — мелочь, на которую Томас, узнав об этом позже, не придал бы значения ни при каких обстоятельствах, если бы не то, что случилось дальше.

Прия появилась без четверти семь — раньше, чем требовалось, но так она приходила почти всегда, с тех пор как начала ординатуру у него на третьем году. Индианка из Лестера, дочь двух врачей общей практики, она выбрала патологию, по её собственным словам, потому что «живые пациенты слишком много врут, а мёртвые хотя бы честны», и Томас в первый же месяц понял, что нашёл редкий экземпляр — ассистента, которому не нужно было объяснять дважды и который не боялся сказать «я не знаю» вместо того, чтобы гадать вслух. Она сняла пальто, повесила его на спинку стула — привычка, за которую Томас однажды сделал ей замечание, безуспешно, — и тут же надела перчатки, ещё не поздоровавшись как следует, будто рукопожатия и разговоры о погоде существовали в какой-то другой части её жизни, не имеющей отношения к прозекторской.

— Готовы начинать? — спросила она, раскладывая инструменты на металлическом подносе с той методичностью, что в первый год казалась ему избыточной, а теперь — единственно возможной.

— Начнём с внешнего осмотра. Затем стандартный протокол.

Внешний осмотр не дал ничего необычного: мужчина спортивного телосложения, без татуировок, без следов инъекций, без синяков и ссадин, кроме двух свежих царапин на левом предплечье — по всей видимости, от травы, в которую он упал. Ногти чистые, зрачки без патологии, никаких внешних признаков насилия. Томас надиктовал это Прии, та фиксировала в планшете, и оба двигались с той отработанной синхронностью, какая появляется у людей, проделавших одну и ту же процедуру не одну сотню раз.

Вскрытие грудной клетки прошло стандартно: Y-образный разрез, извлечение грудины, доступ к органам. Лёгкие оказались чистыми, без признаков отёка или эмболии. Печень, почки, желудок — всё в пределах нормы для мужчины его возраста и образа жизни, разве что печень выглядела чуть здоровее, чем у среднего лондонца его лет, — сказывались, надо думать, годы триатлона и веганской диеты, о которых упоминалось в медицинской карте.

А затем он взял в руки сердце.

Внешне оно тоже не вызывало вопросов: нормальный размер, нормальный вес, коронарные артерии проходимы на всём протяжении, ни малейшего намёка на атеросклероз, которого можно было бы ожидать даже у здорового человека к сорока восьми годам. Томас сделал срезы, отправил часть материала на гистологию, а часть — под собственный электронный микроскоп, установленный здесь же, в углу прозекторской, потому что дожидаться результатов из централизованной лаборатории означало терять два дня, которых у него не было ни разу за шесть лет этой практики.

Он стоял над столом уже сорок минут, и за это время тело сэра Артура Пендлтона успело сказать ему очень много и одновременно ничего.

— Токсикология чиста, — произнёс он, не отрывая взгляда от вскрытой грудной клетки. — Полностью. Ни следа.

Ассистентка оторвалась от планшета. Она не задавала лишних вопросов — обычно за это Томас её и ценил, — но сейчас смотрела на монитор чуть дольше, чем требовала простая проверка данных.

— Может, что-то новое? Синтетическое?

— Синтетическое оставляет метаболиты. Здесь нет метаболитов. Здесь вообще ничего нет, кроме мёртвого сердца сорокавосемилетнего мужчины, по всем показателям способного прожить ещё лет сорок.

— Электролиты?

— В норме. Калий, магний, кальций — всё в референсных значениях. Я проверил дважды.

Прия отложила планшет и подошла ближе, вглядываясь в открытую грудную полость с тем же вниманием, с каким смотрела бы на редкую картину в музее.

— Тогда что мы вообще ищем?

— Хороший вопрос, — сказал Томас. — Хотел бы я знать ответ до того, как его задают.

Он снял перчатки, бросил их в контейнер и подошёл к монитору, где на экране электронного микроскопа медленно проступало изображение среза миокарда. Он смотрел на него уже третий раз за утро, будто ожидал, что при повторном взгляде картина изменится и станет объяснимой.

Она не менялась.

Клетки миокарда лежали ровными рядами, аккуратно сжавшиеся, с характерными фрагментированными ядрами — учебный пример апоптоза, программируемой клеточной смерти.

Только апоптоз в норме — процесс избирательный, точечный: гибнет одна повреждённая клетка, соседние остаются нетронутыми, чтобы поддерживать орган живым.

Здесь погибли все. Одновременно. Как будто кто-то отдал команду, и миллиарды клеток исполнили её без единого возражения.

— Это невозможно, — сказала Прия тихо, глядя через его плечо.

— Невозможное — это то, чему мы ещё не придумали название, — ответил Томас, не оборачиваясь. — У этого явления пока нет имени. Это не значит, что оно не существует.

Он вспомнил, как говорил примерно то же самое своим студентам много лет назад, ещё когда сам преподавал патологическую анатомию в Имперском колледже, — фраза, произносимая тогда с уверенностью человека, ни разу не столкнувшегося с явлением, действительно не укладывающимся в известную ему модель. Сейчас, стоя перед экраном, он впервые за долгое время почувствовал, что говорит её не студентам, а самому себе, и что впервые за долгое время сам не до конца в неё верит. Он подумал мельком о том семестре — о лекционном зале, полном молодых лиц, ловивших каждое его слово с той доверчивостью, какая свойственна только студентам первого курса, — и о том, как далеко он с тех пор ушёл от подобной уверенности, не растеряв, впрочем, способности звучать так, будто она никуда не делась.

— Может, стоит отправить образец в Империял? — предложила Прия. — Пусть кто-то ещё на это посмотрит.

— Отправим. После того как я закончу заключение. — Томас сел за стол, подтянул к себе диктофон. — Но сначала мне нужно написать что-то, что удовлетворит коронера сегодня, а не через неделю, когда придёт ответ из лаборатории.

Он начал диктовать, подбирая слова с той же осторожностью, с какой хирург подбирает инструмент.

— Массивный, диффузный, синхронный апоптоз кардиомиоцитов неустановленной этиологии.

Формулировка, ничего не объяснявшая и при этом звучащая так, будто объясняла всё, — единственное, чем он мог сейчас защититься от начальства, ожидавшего простого ответа на непростой вопрос. Он знал по опыту, что подобные строки в заключении обычно хоронят вопрос вместе с телом: коронер прочтёт, кивнёт, подпишет закрытие дела как смерть по естественным причинам, и Артур Пендлтон навсегда останется досадной статистической аномалией в архиве, а не загадкой, которую кто-то станет разгадывать.

Телефон завибрировал прежде, чем он успел договорить.

Второй случай за неделю. Внешне здоровая женщина, без видимой причины. Коронер просит вас лично. Приезжайте, как сможете.

Сообщение было от инспектора уголовного розыска, чьё имя Томас видел впервые, — Сара Вэнс. Он не ответил сразу, просто ещё какое-то время смотрел на экран, где ткань мёртвого сердца продолжала свой безмолвный, синхронный, необъяснимый рассказ, и что-то в самой формулировке сообщения — «внешне здоровая», «без видимой причины» — отозвалось в нём эхом собственных слов, произнесённых пятью минутами раньше.

— Проблемы? — спросила Прия, заметив, как изменилось его лицо.

— Пока не знаю. — Он убрал телефон. — Заверши протокол и отправь образцы в Империял, как договорились. Я буду на связи.

Он снял халат, повесил его на крючок у двери — привычным движением, каким вешал его тысячу раз до этого, — и на секунду задержался, глядя на закрытую холодильную камеру, за дверцей которой лежало теперь тело Артура Пендлтона, ожидая решения коронера о дальнейшей судьбе.

Затем взял пальто и вышел на улицу, где Лондон, как всегда, был занят чем угодно, кроме мыслей о смерти: спешащие к метро клерки, курьер на велосипеде, лавирующий между автобусами, женщина у киоска, покупающая утреннюю газету с таким видом, будто от заголовков

сегодняшнего дня зависело её собственное будущее. Никто из них не знал, что где-то в цокольном этаже невзрачного викторианского здания лежит человек, чьё сердце только что доказало — пока лишь одному Томасу, — что медицина знает о человеческом теле куда меньше, чем привыкла думать.

Он поймал такси на углу, назвал адрес Кэдоган-сквер и всю дорогу молчал, глядя в окно на утренний город.

Глава 2

Такси высадило Томаса на углу Кэдоган-сквер без четверти девять, и дальше он пошёл пешком — так было быстрее, чем объезжать оцепление, уже растянувшееся на полквартала синей лентой, трепетавшей на ветру между двумя фонарными столбами. Водитель такси, узнав адрес, понимающе хмыкнул и спросил, не журналист ли Томас, — район уже, судя по всему, начинал привлекать внимание, хотя официально о смерти Ратленд ещё не сообщалось. Томас ответил уклончиво, и остаток пути они проехали молча.

Сквер был застроен красным кирпичом в духе поздней Виктории: высокие эркеры, белая лепнина по карнизам, кованые ограды перед каждым крыльцом, начищенные так, будто их полировали еженедельно, — что, вероятно, здесь и происходило раз в неделю, силами наёмного персонала, чьё существование большинство жильцов Кэдоган-сквер, должно быть, даже не осознавало. В центре сквера — частный сад для жильцов, закрытый на ключ, с подстриженными газонами и старыми платанами, чьи кроны почти смыкались над дорожками, отбрасывая на гравий пятнистую тень, слишком декоративную, чтобы выглядеть случайной. На кованой калитке сада висела маленькая латунная табличка с надписью «только для жильцов» — деталь, показавшаяся Томасу по-своему красноречивой в утро, когда за одной из этих дверей нашли мёртвого человека, а привилегия оставаться в неведении о таких вещах, судя по всему, всё ещё считалась здесь чем-то само собой разумеющимся.

Было по-странному тихо для буднего утра — ни собачьего лая, ни шагов на балконах, только шорох шин по мокрому асфальту где-то за поворотом да негромкое потрескивание раций у полицейских машин. В окнах соседних домов не колыхнулась ни одна штора, хотя Томас не сомневался, что за ним наблюдают из-за каждой: район, где соседи не выходят на улицу поглазеть, но непременно смотрят из-за занавесок, а после звонят своим риелторам спросить, не повлияет ли это на стоимость дома. Дом номер четырнадцать ничем не выделялся среди соседних, разве что у входа стояли три полицейские машины, скорая и десяток зевак, которых констебль безуспешно просил отойти за ленту.

На верхней ступеньке крыльца сидела женщина лет сорока, в плаще, застёгнутом на все пуговицы, хотя дождя не было, и с той прямой спиной, которая выдаёт людей, привыкших держать себя перед начальством и подчинёнными одинаково. У её ног стоял бумажный стакан с давно остывшим кофе, так и не тронутым, судя по всему. Увидев Томаса, она поднялась — резко, без промедления, как человек, давно разучившийся позволять себе паузу между командой и движением.

— Доктор Эдриан. Детектив-инспектор Сара Вэнс, отдел тяжких преступлений. — Она показала удостоверение чуть быстрее, чем требовалось, — жест, отработанный до автоматизма. — Спасибо, что так быстро.

— Меня прислал коронер, — сказал Томас. — Как только поступил вызов, его офис связался со мной напрямую — из-за первого дела.

— Значит, вы уже в курсе, почему это не рутинный вызов терапевта.

Он кивнул. Обычная внезапная смерть дома — работа участкового врача или, если причина неясна, дежурного патологоанатома больницы, который проведёт вскрытие и на этом закроет вопрос. Но когда терапевт не может подписать свидетельство, а покойный не имел диагноза, коронер вправе передать дело специалисту по необъяснимым внезапным смертям

— то есть Томасу. Ничего криминального в этом самом по себе нет: таких случаев у него в год набирается десятка два, и подавляющее большинство заканчивается скучным, но верным диагнозом, который просто не успели поставить при жизни. Вэнс же оказалась здесь по другой причине: дело Пендлтона за неделю попало в газеты — «синдром Икара», как окрестил его один таблоид, — и второй такой же случай, здоровая известная женщина, скончавшаяся без причины, был достаточным поводом, чтобы старший офицер на всякий случай закрепил его за отделом тяжких преступлений. Не потому, что кто-то уже нашёл доказательства убийства. Потому что если оно всё же обнаружится, лучше не начинать расследование на неделю позже.

— Второй за неделю, — сказал Томас. — Я решил, что стоит поторопиться.

Она посмотрела на него чуть дольше, чем требовала пауза, будто оценивала, стоит ли ему доверять, и открыла дверь, придерживая её локтем, — жест человека, привыкшего входить на место преступления первой и решать по ходу, кому можно доверить идти следом.

Внутри дом выглядел так, как выглядят дома людей, для которых деньги давно перестали быть вопросом. Мраморный холл, лестница, изгибающаяся вверх с сдержанной роскошью, картины, подобранные явно не хозяйкой, а дизайнером по интерьеру, — абстрактная живопись в тонких рамах, развешанная с той расчётливой асимметрией, за какую дизайнеры интерьеров берут суммы, показавшиеся бы возмутительными любому, кто вырос без подобных сумм в принципе. На вешалке у входа висел плащ, слишком лёгкий для сегодняшней погоды, — судя по всему, тот, что Ратленд надевала последний раз несколько дней назад, ещё не подозревая, что больше он ей не понадобится. Рядом стояла корзина для почты, доверху набитая нераспечатанными конвертами, — вероятно, накопившимися за неделю, что Ратленд провела в Вестминстере больше, чем дома, — и Томас на секунду задержался взглядом на этой корзине, подумав, что в ней, должно быть, лежит переписка, которую теперь уже никто и никогда не прочтёт так, как читала бы её сама хозяйка.

В гостиной на втором этаже, среди книжных полок и кресел кремового цвета, лежала женщина сорока двух лет — Хелен Ратленд, член парламента от одного из северных округов, известная резкими выступлениями против крупного бизнеса и столь же резкой личной жизнью, которую таблоиды с удовольствием обсуждали последние десять лет.

Она лежала на полу возле кресла, одна рука подвёрнута под тело, вторая раскрыта ладонью вверх, будто она что-то уронила и потянулась за этим. На столике рядом стояла чашка чая, на вид ещё не успевшая остыть, и раскрытая книга лежала корешком вверх — так, как её кладут на минуту, собираясь вернуться. Томас машинально отметил название на корешке — какой-то популярный роман, ничего профессионального, ничего, что говорило бы о работе, — деталь сама по себе незначительная, но привычно отложенная в памяти вместе с десятками других, ещё не проверенных на важность. В камине лежала аккуратная стопка нерастопленных дров — судя по всему, Ратленд собиралась развести огонь тем вечером, но так и не успела, — и эта незавершённость, эта прерванная на середине бытовая мелочь тронула Томаса сильнее, чем сама поза тела.

— Экономка нашла её в семь утра, — сказала Вэнс, останавливаясь у двери и позволяя Томасу пройти первым. — Ратленд легла спать здоровой. Никаких жалоб накануне вечером, ни звонков врачу, ничего. Экономка говорит, что она вообще не жаловалась на здоровье последние годы. Бегала марафоны.

— Она жила одна?

— Разведена, детей нет. Экономка приходит три раза в неделю, готовит и убирает, но не живёт здесь. — Вэнс сверилась с блокнотом, хотя, судя по тому, как быстро она это сделала, факты давно были у неё в голове, а блокнот служил скорее ритуалом, чем необходимостью. — Вчера вечером Ратленд ужинала одна, около девяти позвонила помощнику по поводу заштрафного голосования, ничего необычного в разговоре не было. Больше звонков не поступало.

Томас присел на корточки рядом с телом, не касаясь его, — только смотрел, привычно составляя первую, ещё не подтверждённую картину.

— Возраст, физическая форма, отсутствие видимых внешних повреждений. — Он говорил вслух, скорее для себя, чем для Вэнс. — Внешне похоже на первого. Насколько похоже на самом деле, скажу только после вскрытия.

— Даже внешнего сходства мне достаточно, чтобы нервничать, — ответила она. — Я двенадцать лет в убийном отделе. Обычно, когда два человека без всякой связи умирают одинаковым образом за неделю, за этим стоит что-то одно — оружие, яд, человек. Здесь пока нет ничего из этого списка. Это и беспокоит.

— Вы уже решили, что это убийство.

— Я ещё ничего не решила. Но здоровые люди в приличной физической форме не падают замертво без причины, доктор Эдриан. У всего есть причина. Моя работа — найти её у людей. Ваша, если не ошибаюсь, — найти её у тел.

Томас поднял на неё взгляд. В её голосе не было враждебности — было что-то другое, более неприятное для него: снисходительность профессионала, который относится к патологии как к вспомогательной службе, обязанной подтверждать выводы, сделанные детективом заранее. Он видел этот тип отношения не впервые — большинство детективов, с кем ему доводилось работать за годы практики, воспринимали патологоанатома примерно так же, как воспринимают лабораторию, проверяющую анализы: полезно, но не более того, — и обычно это его не задевало. Сейчас, по какой-то причине, задело.

— Пока рано делать выводы, — сказал он.

— Я не делаю выводов. Я собираю факты, пока вы будете разбираться в клетках.

Он не ответил. Достал телефон, сфотографировал положение тела с трёх ракурсов, затем встал и подошёл к книжным полкам — не из профессионального интереса, а потому что за годы работы привык, что дом человека часто говорит о причине смерти больше, чем само тело. Полки были заставлены плотно, но без системы, какая бывает у людей, читающих не для того, чтобы выставлять напоказ прочитанное, а потому что действительно читают: политические биографии вперемешку с современными романами, справочник по гидрогеологии, стоявший явно не на своём месте, среди книг по международным отношениям, — деталь, тогда ещё ничего не значившая для Томаса, но всё же отмеченная. На одной из полок, чуть в стороне от остальных книг, стояла стопка предвыборных брошюр с портретом самой Ратленд на обложке — уверенная, отретушированная улыбка, разительно отличавшаяся от того, что лежало сейчас на полу в нескольких шагах от этой полки.

На нижней полке, среди биографий и политических мемуаров, стояла одна фотография в простой серебряной рамке: Хелен Ратленд лет на пятнадцать моложе, в компании пожилого мужчины с усталым, добрым лицом, оба смеются, оба одеты по-походному, будто снято где-то в горах.

— Кто это? — спросил он, не оборачиваясь.

Вэнс подошла, посмотрела через его плечо.

— Мартин Хейл. Её бывший научный руководитель в Лидсе. — Она сделала паузу. — Покончил с собой три года назад. После того как Ратленд провела через парламентский комитет закон, который разорил компанию, спонсировавшую его исследовательский центр. Он тогда потерял всё — грант, репутацию, работу всей жизни.

— Она знала, что закон его разорит?

— Об этом писали. Она сказала прессе, что не могла предвидеть последствия. — Вэнс посмотрела на фотографию ещё секунду, потом отвернулась. — Хотя, судя по всему, что я о ней прочитала за последний час, она умела предвидеть последствия чего угодно. Просто не всегда решала действовать в соответствии с этим знанием.

Томас почувствовал что-то похожее на первую трещину в собственной уверенности — не в диагнозе, а в том, что он до сих пор считал единственным вопросом расследования: что именно убило этих людей. Впервые ему пришло в голову, что вопрос может быть другим: не что, а почему именно этих двоих.

Он ничего не сказал вслух. Убрал телефон, натянул перчатки и опустился рядом с телом, чтобы начать осмотр — теперь уже внимательнее, чем в любом деле за последние пять лет. Кожные покровы без цианоза, зрачки симметричны, никаких следов борьбы или самозащиты на руках — всё, как и в случае с Пендлтоном, указывало на смерть быструю и, по всей вероятности, безболезненную, что само по себе было бы утешением для родственников, если бы речь шла об обычной смерти.

— Мне нужна полная биография, — сказал он наконец. — Обоих покойных. Работа, деньги, отношения — особенно то, что они предпочли бы скрыть.

Вэнс подняла бровь.

— Необычная просьба для судмедэксперта. Обычно вам хватает истории болезни и результатов вскрытия.

— Обычно я и не прошу больше этого, — ответил Томас, не отрывая взгляда от тела. — Но если то, что я увижу под микроскопом, повторит первый случай — а у меня есть подозрение, что повторит, — обычное объяснение через диагноз отпадёт для них обоих разом. И тогда ответ, возможно, стоит искать не в клетке, а в том, кем они были при жизни.

Вэнс посмотрела на него с интересом, впервые за весь разговор без снисходительности.

— Вы думаете, это связано с тем, кем они были, а не с тем, как они умерли?

— Я думаю, — сказал Томас медленно, будто сам ещё не до конца доверял собственным словам, — что это может оказаться одно и то же.

Она ничего не ответила, только достала блокнот и что-то коротко записала, и по тому, как изменилось выражение её лица — едва заметно, но безошибочно, — Томас понял, что впервые за это утро она отнеслась к его словам не как к профессиональному мнению технического специалиста, а как к чему-то, заслуживающему отдельной строки в её собственных записях.

За окном гостиной по-прежнему было тихо, только теперь к шороху шин прибавился звук отъезжающей машины скорой помощи — вызванной без всякой надобности: человеку она уже не могла помочь.

Глава 3

Вскрытие Хелен Ратленд Томас назначил на раннее утро следующего дня — задолго до того, как в здании появится кто-либо, кроме утренней смены, и задолго до того, как королевская служба успеет обрасти звонками из редакций. Он почти не спал ночью, но не от бессонницы в обычном смысле, а от того особого, знакомого ему по годам практики состояния, когда мозг отказывается отключаться, потому что где-то на периферии сознания уже собирает картину из фрагментов, ещё не оформленных в мысль. Он дважды за ночь вставал, включал ноутбук, перечитывал собственные заметки по делу Пендлтона в надежде найти в них что-то упущенное, и дважды закрывал его снова, ничего не найдя, кроме собственного растущего беспокойства.

Прия ждала его уже в прозекторской, разложив инструменты с той аккуратностью, которая в первый год ординатуры казалась излишней, а теперь — единственно возможной. На ней был свежий халат, и по тому, как ровно лежали складки, Томас понял, что она тоже пришла раньше обычного, — вероятно, чтобы успеть подготовиться до его прихода, а может быть, просто потому что дело захватило и её тоже. На подносе рядом с инструментами стояли две чашки кофе, одна уже початая, — маленький, невысказанный жест заботы, который Томас отметил про себя, не найдя, впрочем, времени поблагодарить её за это вслух.

— Токсикология готова, — сказала она, протягивая планшет. — Чисто. Как у первого.

Томас кивнул, не отвечая, и начал вскрытие с той же методичностью, с какой начинал их всегда: снаружи внутрь, от общего к частному, откладывая выводы до тех пор, пока их не подтвердит сама ткань. Внешний осмотр не дал ничего нового по сравнению с тем, что он уже видел на месте: ни следов насилия, ни синяков, ни единой царапины, если не считать давнего шрама на колене — судя по возрасту рубца, детская травма, а не что-то, имеющее отношение к делу. На правом запястье Ратленд обнаружили едва заметные следы — не свежие, застарелые, похожие на след от часов, которые она, судя по всему, носила годами и сняла лишь недавно, оставив на коже тонкую бледную полосу.

Сердце Хелен Ратленд, извлечённое и промытое, выглядело безупречно — ни намёка на ишемию, ни рубца, ни малейшего утолщения стенки, которое выдало бы годы скрытой гипертонии. Он взвесил его — триста двенадцать граммов, ровно в пределах нормы для женщины её роста и веса, — сделал срезы, разложил их для окраски и на сорок минут занялся лёгкими, печенью, содержимым желудка — рутинной, которая должна была либо подтвердить, либо опровергнуть то, что он уже заподозрил, ещё стоя над телом накануне. Содержимое желудка подтвердило слова Вэнс об ужине накануне вечером — что-то лёгкое, судя по остаткам, рыба с овощами, — и ничего похожего на яд, лекарство или что-либо, способное объяснить произошедшее.

Опровержения не случилось.

Под электронным микроскопом ткань миокарда Хелен Ратленд выглядела так, будто её вырезали из того же среза, что и ткань Артура Пендлтона: ровные ряды клеток, одинаково, синхронно сжавшихся, фрагментированные ядра — картина, в норме указывающая на избирательную, точечную гибель отдельных повреждённых клеток, а здесь ставшая картиной массового, слаженного самоуничтожения органа, ещё накануне работавшего исправно.

— Идентично, — произнесла Прия тихо, глядя через его плечо на монитор. — Не просто похоже. Идентично.

— Идентично, — повторил Томас. Впервые за много лет ему не понравилось звучание собственного голоса, произносящего диагноз.

Он снял перчатки медленнее обычного, будто это могло дать ему время придумать формулировку, которую можно будет показать коронеру, не выглядя при этом человеком, потерявшим научную трезвость. «Массивный, диффузный, синхронный апоптоз кардиомиоцитов неустановленной этиологии» — та же строка, что и в первом заключении, слово в слово, только с другим именем сверху. Он подумал, что если случится третий такой же протокол, формулировка начнёт выглядеть не научной осторожностью, а признанием собственного бессилия, — и тут же одёрнул себя за то, что мысль вообще допустила слово «третий».

Он сел за стол, но не начал диктовать сразу. Вместо этого открыл присланную Вэнс папку — предварительную биографию Хелен Ратленд, ещё неполную, наспех собранную за одну ночь силами отдела, — и погрузился в неё с тем же вниманием, с каким час назад изучал срезы её сердца.

Депутат парламента, второй срок. Комитет по энергетике и промышленности. Три года назад провела через комитет законопроект об упрощении регламента для добывающих компаний в её округе — законопроект, публично защищаемый ею как способ спасти рабочие места в депрессивном регионе. Пресса тогда почти не заметила две строчки в приложении: смягчение экологических норм для одного конкретного полигона отходов, чьи владельцы за полгода до голосования профинансировали её избирательную кампанию суммой, формально не превышающей лимит, но фактически близкой к нему настолько, насколько позволял закон. Она давала по этому поводу несколько интервью местным изданиям округа, и в одном из них, судя по стенограмме, приложенной к делу, назвала законопроект «болезненным, но необходимым компромиссом между рабочими местами сегодня и абстрактной экологией завтра» — фраза, звучавшая достаточно убедительно тогда и достаточно цинично теперь, задним числом.

Мартин Хейл, её бывший научный руководитель, возглавлял независимый исследовательский центр, годом раньше опубликовавший данные о загрязнении грунтовых вод возле того же полигона. Двадцать лет назад Ратленд писала под его началом диссертацию по гидрогеологии — работу, посвящённую именно тому, как промышленные отходы просачиваются в водоносные слои и достигают питьевых источников. В деле нашлась и старая фотография защиты: молодая Ратленд, ещё без единой седой пряди, держит папку с диссертацией и улыбается так широко, как не улыбалась, судя по всему, ни на одной официальной фотографии последних лет. На обороте фотографии, отсканированной вместе с остальными материалами, сохранилась дарственная надпись, сделанная, судя по почерку, самим Хейлом: «Хелен — за смелость видеть то, что другие предпочитают не замечать». Томас перечитал эту надпись несколько раз, прежде чем смог заставить себя отвести взгляд.

После голосования по её собственному законопроекту центр Хейла потерял финансирование в течение месяца — по официальной версии, из-за пересмотра грантовой политики. Хейл лишился работы, дома, а спустя два года — жизни. В деле была короткая выдержка из его предсмертной записки, процитированная одной из газет и переданная теперь Томасу вместе с остальными материалами: он писал, что не винит никого конкретно, что политика такая, какая есть, и что он просто устал доказывать очевидное людям, для которых очевидное давно перестало что-либо значить.

Томас закрыл папку и долго сидел неподвижно, глядя не в неё, а в пустую точку на столе перед собой.

Он не был склонен к сентиментальности и не собирался начинать сейчас. Но что-то в этой последовательности фактов — глубоко материальных, вполне юридически объяснимых, ничем формально не наказуемых — не давало ему покоя иначе, чем давала покоя ткань под микроскопом. Обе вещи были одинаково безупречны с точки зрения закона. Обе заканчивались одинаково мёртвым сердцем. Он попытался вспомнить, сколько раз за годы практики видел смерть, которая выглядела бы столь же справедливой в каком-то ином, ненаучном смысле этого слова, и не смог вспомнить ни одной, — что само по себе было тревожным наблюдением для человека, привыкшего доверять только измеримому.

Телефон зазвонил, когда он уже собирался диктовать заключение.

— Доктор Эдриан, — сказал голос коронера, обычно ровный, а сейчас чуть более напряжённый, чем требовала простая формальность звонка. — У меня для вас третий.

Томас на мгновение замолчал, прежде чем ответить.

— Кто?

— Дэвид Морроу. Сорок пять лет. Основатель одной из тех технологических компаний, названия которых я запоминаю только потому, что о них вечно пишут в деловой прессе. Умер сегодня ночью во сне, рядом с женой, абсолютно здоровым — если верить его личному врачу, а верить, судя по всему, придётся, потому что этот человек проходил полное обследование раз в квартал последние десять лет.

— Причина?

— Пока никакой. Именно поэтому я и звоню вам, а не в морг при больнице.

— Когда я могу его увидеть?

— Тело уже везут к вам. Будет через час. — Коронер сделал паузу, и Томас услышал в трубке звук, похожий на то, как человек проводит рукой по лицу. — Послушайте, Эдриан. Мне нужно от вас не только заключение. Мне нужно понимание, с чем мы имеем дело, прежде чем это попадёт в прессу в том виде, в каком журналисты обычно подают вещи, которых сами не понимают.

— Я работаю над этим.

— Работайте быстрее.

Томас положил трубку и ещё какое-то время смотрел на монитор, где ткань сердца Хелен Ратленд продолжала свой безмолвный, идентичный первому случаю рассказ.

Три человека за десять дней. Все здоровы. Все внезапно мертвы без единой физической причины, которую можно было бы записать в свидетельство о смерти, не покрывив душой.

Он потянулся к телефону, чтобы набрать Вэнс, и поймал себя на мысли, что не удивится, если пресса, уже окрестившая первые два случая «синдромом Икара», к вечеру найдёт для третьего что-нибудь похуже. Пока он набирал номер, Прия молча начала готовить стол для приёма нового тела — не дожидаясь распоряжения, просто зная, каким будет следующий шаг, — и в этой её спокойной, привычной готовности было что-то, что Томас, при других обстоятельствах, счёл бы утешительным.

Рутина закончилась.

Глава 4. Морроу

Тело Дэвида Морроу привезли в прозекторскую к полудню — на два часа позже обещанного, из-за пробок на объездной, — и Томас, вопреки обыкновению, был этому почти рад: два лишних часа дали ему время закончить заключение по Ратленд и хоть немного собраться перед тем, что, как он уже почти не сомневался, ждало его на столе.

— Жена нашла его в семь утра, — сказала Прия, сверяясь с сопроводительными документами. — Лежал на боку, как будто спал. Она думала, что он просто не проснулся вовремя, — тронула его за плечо позвать на работу, а он уже остыл.

Это отличало Морроу от двух предыдущих: Пендлтон умер посреди движения, на бегу, среди чужих людей; Ратленд — одна, в кресле, за книгой; Морроу же умер во сне, рядом с женой, в собственной постели, в наиболее интимных и наименее свидетельских обстоятельствах из всех троих. Томас отметил это машинально, не зная ещё, будет ли разница в обстоятельствах смерти иметь хоть какое-то значение для того, что покажет вскрытие, но фиксируя её по привычке, как фиксировал любую деталь.

Внешний осмотр не выявил ничего необычного: мужчина сорока пяти лет, чуть полный, но в пределах нормы для человека его возраста и образа жизни, без видимых повреждений, следов инъекций или борьбы. На правой руке — потёртость от многолетнего ношения массивных наручных часов, на животе — едва заметный старый шрам, судя по всему, от аппендэктомии в детстве. Ничего, что указывало бы на что-либо, кроме обычной, глубоко личной истории человеческого тела, прожившего сорок пять лет вполне обычной жизни.

— Личный врач говорит, обследование раз в квартал последние десять лет, — сказала Прия. — Последнее было три недели назад. Полный порядок, никаких отклонений.

— Начнём.

Вскрытие грудной клетки прошло тем же порядком, что и дважды до этого: Y-образный разрез, извлечение грудины, доступ к органам. Лёгкие Морроу оказались чуть менее чистыми, чем у Пендлтона и Ратленд, — лёгкая эмфизематозная изменённость по краям, характерная для бывшего курильщика, — деталь, отсутствовавшая в личном деле, но, судя по всему, вполне реальная: возможно, привычка юности, оставленная десятилетия назад и никогда не упомянутая в медицинской карте, потому что формально давно преодолённая. Печень, почки — без отклонений. Содержимое желудка — практически пусто, что соответствовало времени последнего приёма пищи, указанному женой, — ранний ужин, около семи вечера, ничего необычного.

А затем — сердце.

Оно оказалось чуть крупнее, чем можно было ожидать для человека его комплекции, — умеренная гипертрофия левого желудочка, вполне типичная для человека, страдавшего лёгкой, недиагностированной гипертензией, какая бывает у половины успешных бизнесменов среднего возраста и обычно не считается поводом для тревоги. Ни рубцов, ни следов перенесённых инфарктов, ни малейших признаков ишемической болезни, способной объяснить вне-

запную остановку. Томас взвесил его, сделал срезы, отправил образцы на подготовку — и уже знал, ещё до того, как первый срез лёг под линзу микроскопа, что увидит.

Он не ошибся.

Ткань миокарда Дэвида Морроу выглядела так, будто её вырезали из того же донора, что и ткани двух предыдущих тел: ровные ряды клеток, синхронно сжавшихся, фрагментированные ядра, распределённые по всей толще сердечной мышцы с одинаковой, безжалостной равномерностью. Не было никакой разницы между этой картиной и той, что он видел неделей раньше в сердце Ратленд, и месяцем раньше — в сердце Пендлтона. Три сердца, три разных человека, три совершенно разных обстоятельства смерти — и одна и та же, до последней детали идентичная гистологическая подпись.

— Третий раз, — сказала Прия тихо, и Томас впервые за всё время их совместной работы услышал в её голосе не научное любопытство, а нечто более простое и человеческое: страх.

— Третий раз, — согласился он.

Он ещё долго стоял над микроскопом, глядя на изображение, уже не удивлявшее его так, как удивляло в первый раз с Пендлтоном, — не потому что стало менее необъяснимым, а потому что необъяснимость эта уже успела стать частью его повседневной реальности, тем фоном, на котором теперь разворачивалась вся его жизнь. Он подумал мельком о жене Морроу, обнаружившей мужа остывшим рядом с собой, — о том, каково это, проснуться утром рядом с человеком, лёгшим спать живым, и понять постепенно, покадрово, что что-то не так, прежде чем разум успеет облечь это ощущение в слова.

— Мне нужна его полная биография, — сказал он, снимая перчатки. — Как можно скорее. У меня чувство, что мы не можем позволить себе ждать ещё одного случая, прежде чем поймём закономерность до конца.

Прия кивнула и молча начала убирать инструменты, и в её движениях, обычно таких размеренных, Томас впервые заметил лёгкую поспешность — не небрежность, а что-то похожее на желание поскорее закончить с этим конкретным телом и перейти к чему угодно другому.

За окном под потолком лаборатории начинало темнеть, хотя было только начало четвёртого, — один из тех редких, по-настоящему мрачных лондонских дней, когда солнце, кажется, вовсе не восходило по-настоящему, а только слегка разбавило серость неба на несколько часов, прежде чем снова уступить ей полностью.

Глава 5. Синдром Икара

К тому времени, как Томас вышел из здания коронерской службы на следующее утро, у входа его ждали трое — не полиция, не родственники, а журналисты, один с камерой на плече, двое с диктофонами наготове, и все трое сорвались с места одновременно, едва он появился в дверях.

— Доктор Эдриан! Можете подтвердить, что три смерти за десять дней связаны между собой?

— Источники говорят, что вскрытия показали идентичную картину — это правда?

— Есть версия, что это токсин. Вы можете это исключить?

Он не ответил ни на один вопрос — коронерская служба категорически запрещала сотрудникам общаться с прессой напрямую, и Томас, при всём смятении последних дней, был этому только рад, — и молча прошёл мимо, глядя прямо перед собой с той нарочитой сосредоточенностью, с какой проходят мимо попрошайки в переходе метро. Один из журналистов пристроился рядом и прошёл с ним ещё метров двадцать, продолжая забрасывать его вопросами вполголоса, будто интимность тона могла заменить согласие отвечать, — и отстал только у самого входа в метро, выкрикнув напоследок что-то про «право общественности знать».

Прия встретила его в лаборатории с планшетом в руках и лицом человека, не знающего, с чего начать.

— Вы это видели? — спросила она, разворачивая экран к нему.

На экране была заглавная страница одного из крупных таблоидов: заголовок «СИНДРОМ ИКАРА: КТО СЛЕДУЮЩИЙ?» крупными буквами поверх коллажа из трёх фотографий — Пендлтон на пробежке, Ратленд на трибуне парламента, Морроу на сцене какой-то технологической конференции, — все трое улыбающиеся, все трое явно сфотографированные в лучшие свои моменты, что делало контраст с их нынешней участью только острее. Статья ссылалась на анонимный источник «в коронерской службе», утверждавший, что все три вскрытия выявили «одинаковое, необъяснимое явление в сердечной ткани», и осторожно, но настойчиво намекала на возможность нового вида биотерроризма, нацеленного на лондонскую элиту.

— Кто-то слил информацию, — сказал Томас, чувствуя, как у него внутри что-то сжимается — не страх разоблачения, а что-то более простое: раздражение оттого, что данные, ещё не осмысленные им самим до конца, теперь принадлежали всему городу в искажённом, упрощённом виде.

— Не обязательно у нас, — заметила Прия. — Могли и от родственников, могли из полиции. Утечки в таких делах случаются на любом этапе.

Он пролистал ещё несколько статей, которые она заботливо собрала для него в одну папку, — очевидно, готовясь к этому разговору заранее. Одна из воскресных газет уже успела опросить «эксперта по общественному здоровью», предположившего связь с загрязнением воды в богатых районах Лондона, — версия, не имевшая под собой ни малейшего научного основания, но звучащая достаточно правдоподобно для читателя, ищущего простое объяснение. Другая газета, более осторожная, ограничилась интервью с бывшим сотрудником МИ5, туманно рассуждавшим о «прецедентах использования нейротоксинов иностранными разведками» — заголовок был расчётливо составлен так, чтобы не утверждать ничего прямо и в то же время посеять максимум тревоги.

— Отдел по связям с общественностью коронерской службы уже звонил, — сказала Прия. — Просили вас никому не давать комментариев и направлять всех к ним.

— Я и не планировал.

— Ещё звонила Вэнс. Просила перезвонить, как только сможете.

Он позвонил ей тут же, из своего кабинета, закрыв дверь.

— Вы уже видели утренние газеты, — сказала она вместо приветствия, и в её голосе Томас впервые за время их знакомства расслышал нечто похожее на усталость, не относящуюся напрямую к делу, — усталость человека, которому теперь придётся тратить часть своего дня на то, чтобы объяснять начальству то, чего сама толком не понимает.

— Видел.

— Меня уже вызывали к суперинтенданту. Ему звонили из офиса мэра. Хотят знать, есть ли основания для официального предупреждения населению — что-то вроде «избегайте контактов с незнакомыми веществами», хотя мы понятия не имеем, о каком веществе вообще может идти речь, если оно вообще существует.

— Скажите ему правду, — сказал Томас. — У нас нет доказательств преступления. У нас есть биохимическая аномалия, которую я пока не могу объяснить.

— «Пока не могу объяснить» — это ровно та фраза, которая появится на первой полосе завтра утром, если я произнесу её кому-нибудь кроме вас, — ответила Вэнс. — Люди не любят неопределённость, доктор Эдриан. Особенно когда речь о собственной безопасности. Дайте им неопределённость, и они придумают объяснение сами — обычно куда хуже, чем правда.

Она была права, и он это понимал, но правда, держащаяся им при себе, — та, что вертелась у него в голове всё настойчивее с каждым новым случаем, — была не тем видом правды, что могла бы кого-либо успокоить. Он не сказал ей этого вслух. Вместо этого он спросил, что она собирается говорить суперинтенданту.

— Что расследование продолжается, — ответила Вэнс. — Что мы рассматриваем все версии. Обычная формула, ничего не значащая и потому безопасная. Постараюсь выиграть нам обоим немного времени, прежде чем от нас начнут требовать конкретики, которой у нас пока нет.

Когда он повесил трубку, Прия всё ещё стояла в дверях кабинета, явно не уверенная, стоит ли задавать вопрос, давно, судя по её лицу, вертевшийся у неё на языке.

— Что, если это действительно на нас нападают? — спросила она наконец. — Что, если журналисты правы, и это не биология, а что-то, что кто-то делает специально?

— Тогда я не смог бы объяснить, откуда у жертв идентичный биохимический маркер за годы до смерти, — сказал Томас. — Яд не оставляет следов за десятилетие вперёд. А у всех троих, судя по архивным данным, этот процесс шёл давно, задолго до того, как кто-либо мог их отравить.

— Тогда что это?

Он посмотрел на неё, на её открытое, обеспокоенное лицо, и в который раз поймал себя на том, что она заслуживает ответа честнее, чем тот, что он готов был ей сейчас дать.

— Не знаю, — сказал он вместо этого. — Но не то, о чём пишут газеты.

Она кивнула, не до конца удовлетворённая, и вышла, оставив его одного с распечатками заголовков, разложенными на столе, — «СИНДРОМ ИКАРА», снова и снова, буквами разного размера и разной степени истеричности, ни один из них не был даже отдалённо близок к правде, и ни один, как он понимал уже тогда, не заставит его отказаться от того, чтобы найти эту правду самому, чего бы это ни стоило.

Часть 2. Оценочная функция

«Ни один виновный не может быть оправдан перед судом собственного сердца, даже если он избежал верёвки и судейского кресла». — Ювенал

Глава 6

Отдел тяжких преступлений занимал третий этаж здания на Виктория-стрит, слишком нового и слишком стеклянного, чтобы вписаться в окружающую его викторианскую застройку, — и Томас, поднимаясь на лифте, невольно вспомнил, что его собственная прозекторская выглядела почти древностью на фоне этой отделанной алюминием функциональности. У входа посетителей встречал терминал самостоятельной регистрации, показавшийся Томасу до странного неуместным — будто здание, где расследуют убийства, не могло обойтись без тех же вежливых, безликих технологий, что встречали посетителей в любом современном офисе. Вэнс встретила его у лифта и провела через open space, где десяток детективов сидели за компьютерами, ни один из них не поднял взгляда, когда они проходили мимо, — привычка людей, чья работа приучила их не отвлекаться на движение вокруг.

Комната для совещаний оказалась маленькой, без окон, с одним столом и стеклянной стеной, за которой виднелся коридор. На стене висела пробковая доска, утыканная старыми объявлениями о профсоюзных собраниях и потерявшимися зонтиками, — деталь настолько обыденная, что казалась почти издевательской на фоне того, что предстояло здесь обсудить. Вэнс разложила три папки на столе так, как раскладывают карты перед игрой, в которой уже устали блефовать.

— Дэвид Морроу, — сказала она, открывая третью. — Основал компанию, которая делает алгоритмы кредитного скоринга для банков. Но начинал он не один. Соучредителем и научным руководителем всего проекта на первых порах был профессор Алан Гриви — тот, кто, собственно, придумал саму математическую модель, ещё когда Морроу был его аспирантом в Империял-колледже.

Она разложила перед ним распечатку из открытых судебных материалов.

— За полгода до раунда финансирования, оценившего компанию в семьсот миллионов, между ними случился конфликт: Гриви настаивал, что модель нужно доработать, потому что она систематически занижает рейтинг заявителям из бедных районов — не по расе, не по документам, просто по почтовому индексу, коррелирующему с тем и другим. Морроу решил, что доработка отложит раунд на год и обрушит переговоры с инвесторами. Совет директоров, который он сам же и собрал из лояльных людей, размыл долю Гриви до символической через дополнительную эмиссию — формально законно, формально в интересах компании — и вывел его из проекта под предлогом «творческих разногласий».

— Что стало с Гриви?

— Судился три года. Проиграл — юристы Морроу оказались лучше. Потерял дом, потерял кафедру, потому что университет не любит профессоров, которые судятся с собственными бывшими студентами и мелькают в прессе как неудачники. Умер от инфаркта восемь месяцев назад, за месяц до того, как акции компании Морроу выросли втрое.

Томас слушал, не перебивая, и по мере того как она говорила, узнавал в истории Морроу ту же архитектуру, что и в истории Ратленд: решение, юридически безупречное, экономически оправданное, и один человек, принесённый ему в жертву без злого умысла — просто потому, что так было эффективнее. Он поймал себя на том, что уже не делает пометок — обычная для него часть любой беседы, — просто слушает, и понял, что впервые за долгое время его больше занимает не медицинская сторона дела, а человеческая.

— Родственники Гриви есть? — спросил Томас. — Кто-то, у кого был бы мотив?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.